

# БЕНЖАМЕН КОНСТАН

АДОЛЬФ

Бенжамен Констан  
**Адольф**

«Public Domain»

1816

## **Констан Б.**

Адольф / Б. Констан — «Public Domain», 1816

«Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему; в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть, призывал в ареопаг свой и Баратынского, подвергал вам свои сомнения и запросы и руководствовался угадыванием вашего решения. Не страшитесь однако же, ни ты, ни он: не налагаю на вас ответственности за худое толкование молчания вашего. Иначе моя доверенность к вам была бы для вас слишком опасна, связывая вас взаимным обязательством в случайностях предприятия моего...»

# Содержание

От переводчика	6
Предисловие	10
От издателя[2]	11
Глава первая	12
Глава вторая	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

## Бенжамен Констан Адольф

Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему; в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть, призывал в ареопаг свой и Баратынского, подвергал вам свои сомнения и запросы и руководствовался угадыванием вашего решения. Не страшитесь однако же, ни ты, ни он: не налагаю на вас ответственности за худое толкование молчания вашего. Иначе моя доверенность к вам была бы для вас слишком опасна, связывая вас взаимным обязательством в случайностях предприятия моего.

Что бы ни было, дар, мною тебе подносимый, будет свидетельством приязни нашей и уважения моего к дарованию, коим радуется дружба и гордится отечество.

*К. Вяземский.*

*Село Мещерское (Саратовской г.)*

*1829 года.*

## От переводчика

Если бы можно было еще чему-нибудь дивиться в странностях современной литературы нашей, то позднее появлении на Русском языке романа, каков *Адольф*, должно бы было показаться непонятным и примерным забвением со стороны Русских переводчиков. Было время, что у нас все переводили, хорошо или худо, дело другое, по крайней мере охотно, деятельно. Росписи книг, изданных в половине прошлого столетия, служат тому неоспоримым доказательством. Ныне мы более нежели четвертью века отстали от движений литератур иностранных. *Адольф* появился в свет в последнем пятнадцатилетии: это первая причина непереселения его на Русскую почву.

Он в одном томе – это вторая причина. Переводчики наши говорят, что не стоит присесть к делу для подобной безделицы, просто, что не стоит рук марать. Книгопродавцы говорят в свою очередь, что не из чего пустить в продажу один том, ссылаясь на обычай нашей губернской читающей публики, которая по ярмаркам запасается книгами, как и другими домашними потребностями, в прок так, чтобы купленного сахара, чая и романа было на год, вплоть до новой ярмарки. Смирненное, однословное заглавие – есть третья причина безызвестности у нас *Адольфа*. Чего, говорят переводчики и книгопродавцы, ожидать хорошего от автора, который не сумел приискать даже заманчивого прилагательного к собственному имени героя своего, не сумел, щеголяя воображением, поразцветить заглавия своей книги.

Остроумный и внимательный наблюдатель литературы нашей говорил забавно, что обыкновенно переводчики наши, готовясь переводить книгу, не советуются с известным достоинством её, с собственными впечатлениями, произведенными чтением, а просто наудачу идут в ближайшую иностранную книжную лавку, торгуют первое творение, которое пришлось им по деньгам и по глазам, бегут домой и через четверть часа пером *уже скрывают по заготовленной бумаге*.

Можно решительно сказать, что *Адольф* превосходнейший роман в своем роде. Такое мнение не отзывается кумовством переводчика, который более, или упрямее самого родителя любит своего крестника. Оно так и должно быть. Автор, не смотря на чадолюбие, может еще признаваться в недостатках природного рождения своего. Переводчик в таком случае движим самолюбием, которое сильнее всякого другого чувства: он добровольно усыновляет чужое творение и должен отстаивать свой выбор. Нет, любовь моя к *Адольфу* оправдана общим мнением. Вольно было автору в последнем предисловии своем отзываться с некоторым равнодушием, или даже небрежением о произведении, которое, охотно верим, стоило ему весьма небольшого труда. Во-первых, читатели не всегда ценят удовольствие и пользу свою по мере пожертвований, убытков времени и трудов, понесенных автором; истина не более и не менее истина, будь она плодом многолетних изысканий, или скоропостижным вдохновением, или раскрывшимся признанием тайны, созревшей молча в глубине наблюдательного ума. Во-вторых, не должно всегда доверять буквально скромным отзывам авторов о их произведениях. Может быть, некоторое отречение от важности, которую приписывали творению сему, было и вынуждено особенными обстоятельствами. В отношениях Адольфа с Элеонорою находили отпечаток связи автора с славною женщиною, обратившею на труды свои внимание целого света. Не разделяем сметливости и догадок добровольных следователей, которые отыскивают всегда самого автора по следам выводимых им лиц; но понимаем, что одно разглашение подозрения в подобных применениях могло внушить Б. Констану желание унижить собственным приговором цену повести, так сильно подействовавшей на общее мнение. Наконец, писатель, перенесший наблюдения свои, соображения и деятельность в сферу гораздо более возвышенную, Б. Констан, публицист и действующее лицо на сцене политической, мог без сомнения охладеть в участии своем к вымыслу частной драмы, которая, как ни жива, но все должна же уступить

драматическому волнению трибуны, исполинскому ходу *стодневной эпопеи* и романическим событиям современной эпохи, которые некогда будут историей.

Трудно в таком тесном очерке, каков очерк *Адольфа*, в таком ограниченном и, так сказать, одиноком действии более выказать сердце человеческое, перевернуть его на все стороны, выворотить до дна и обнажить наголо во всей жалости и во всем ужасе холодной истины. Автор не прибегает к драматическим пружинам, к многосложным действиям, в сим вспомогательным пособиям театрального, или романического мира. В драме его не видать ни машиниста, ни декоратора. Вся драма в человеке, все искусство в истине. Он только указывает, едва обозначает поступки, движения своих действующих лиц. Все, что в другом романе было бы, так связать, содержанием, как-то: приключения, неожиданные перепонки, одним словом, вся кукольная комедия романов, здесь оно – ряд указаний, заглавий. Но между тем, во всех наблюдениях автора так много истины, пронизательности, сердцеведения глубокого, что, мало заботясь о внешней жизни, углубляешься во внутреннюю жизнь сердца. Охотно отказываешься от требований на волнение в переворотах первой, на пестроту в красках её, довольствуясь, что вслед за автором изучаешь глухое, потаенное действие силы, которую более чувствуешь, нежели видишь. И кто не рад бы предпочесть созерцанию красот и картинных движений живописного местоположения откровение таинств природы и чудесное сошествие в подземную святую её, где мог бы он, проникнутый ужасом и благоговением, изучать её безмолвную работу и познавать пружины, коими движется наружное зрелище, привлекавшее любопытство его?

Характер Адольфа верный отпечаток времени своего. Он прототип Чайльд Гарольда и многочисленных его потомков. В этом отношении творение сие не только роман *сегодняшний* (roman du jour), подобно новейшим светским, или гостинным романам, оно еще более роман века сего. Говоря о жизни своей, Адольф мог бы сказать справедливо: день мой – век мой. Все свойства его, хорошие и худые, отливки совершенно современные, Он влюбился, соблазнил, соскучился, страдал и мучил, был жертвою и тираном, самоотверженцем и эгоистом, все не так, как в старину, когда общество подвижно было каким то совокупным, взаимным эгоизмом, в который сливались эгоизмы частные. В старину первая половина повести Адольфа и Элеоноры не могла бы быть введением к последней. Адольф мог бы тогда в порыве страсти отречься от всех обязанностей своих, всех сношений, повергнуть себя и будущее свое к ногам любимой женщины; но, отлюбив однажды, не мог бы и не должен он был приковать себя к роковой необходимости. Ни общество, ни сама Элеонора не поняли бы положения и страданий его. Адольф, созданный по образу и духу нашего века, часто преступен, но всегда достоин сострадания: судя его, можно спросить, где найдется праведник, который бросит в него камень? Но Адольф в прошлом столетии был бы просто безумец, которому никто бы не сочувствовал, загадка, которую никакой психолог не дал бы себе труда разгадывать. Нравственный недуг, которым он одержим и погибает, не мог бы укорениться в атмосфере прежнего общества. Тогда могли развиваться острые болезни сердца; ныне пора хронических: самое выражение *недуг сердца* есть потребность и находка нашего времени. Нигде не было выставлено так живо, как в сей повести, что жестокосердие есть неминуемое следствие малодушие, когда оно раздражено обстоятельствами, или внутреннею борьбою; что есть над общежитием какое-то тайное Провидение, которое допускает отклонения от законов, непреложно им постановленных; но рано или поздно постигает их мерою правосудия своего; что чувства ничего без правил; что если чувства могут быть благими вдохновениями, то одни правила должны быть надежными руководителями (так Колумб мог откровением гения угадать новый мир, но без компаса не мог бы открыть его); что человек, в разногласии с обязанностями своими, живая *аномалия* или выродок в системе общественной, которой он принадлежит: будь он даже в некоторых отношениях и превосходнее её; но всегда будет не только несчастлив, но и виноват, когда не подчинит себя общим условиям и не признает власти большинства.

Женщины вообще не любят Адольфа, то есть характера его: и это порука в истине его изображения. Женщинам весело находить в романах лица, которых не встречают они в жизни. Охлажденные, напуганные живою природою общества, они ищут убежища в мечтательной Аркадии романов: чем менее герой похож на человека, тем более сочувствуют они ему; одним словом, ищут они в романах не портретов, но идеалов; а спорить нечего: Адольф не идеал. Б. Констан и авторы еще *двух трех романов*,

В которых отразился век  
И современный человек,

не льстивые живописцы изучаемой ими природы. По мнению женщин, Адольф один виноват: Элеонора извинительна и достойна сожаления. Кажется, приговор несколько пристрастен. Конечно, Адольф, как мужчина, зачинщик, а на зачинающего Бог, говорит пословица. Такоа роль мужчин в романах и в свете. На них лежит вся ответственность женской судьбы. Когда они и становятся сами жертвами необдуманной склонности, то не прежде, как уже предав жертву властолюбию сердца своего, более или менее прямодушному, своенравному, но более или менее равно насильственному и равно бедственному в последствиях своих. Но таково уложение общества, если не природы, таково влияние воспитания, такова *сила вещей*. Романист не может идти по следам Платона и импровизировать республику. Каковы отношения мужчин и женщин в обществе, таковы должны они быть и в картине его. Пора *Малек-Аделей и Густавов* миновалась. Но после предварительных действий, когда уже связь между Адольфом и Элеонорою заключена взаимными задатками и пожертвованиями, то решить трудно, кто несчастней из них. Кажется, в этой нерешимости скрывается еще доказательство искусства, то есть истины, коей держался автор. Он не хотел в приговоре своем оправдать одну сторону, обвиняя другую. Как в тяжбах сомнительных, спорах обоюдно неправых, он предоставил обоим полам, по юридическому выражению, *ведаться формою суда*. А сей суд есть трибунал нравственности верховной, которая обвиняет того и другого.

Но в сем романе должно искать не одной любовной биографии сердца: тут вся история его. По тому, что видишь, угадать можно то, что не показано. Автор так верно обозначил нам с одной точки зрения характеристические черты Адольфа, что, применяя их к другим обстоятельствам, к другому возрасту, мы легко выкладываем мысленно весь жребий его, на какую сцену действия ни был бы он кинут. Вследствие того, можно бы (разумеется, с дарованием Б. Констана) написать еще несколько Адольфов в разных периодах и соображениях жизни, подобно портретам одного же лица в разных летах и костюмах.

О слоге автора, то есть о способе выражения, и говорить нечего: это верх искусства, или, лучше сказать, природы: таково совершенство и так очевидно отсутствие искусства или труда. Возьмите на удачу любую фразу: каждая вылита, стройна как надпись, как отдельное изречение. Вся книга похожа на ожерелье, нанизанное жемчугами, прекрасными по одиночке, и прибранными один к другому с удивительным тщанием: между тем нигде не заметна рука художника. Кажется, нельзя ни прибавить, ни убавить, ни переставить ни единого слова. Если то, что Депрео сказал о Мальгербе, справедливо:

D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,

то никто этому могуществу так не научался, как Б. Констан. Впрочем, важная тайна слога заключается в этом умении. Это искусство военачальника, который знает, как расставить свои войска, какое именно на ту минуту и на том месте употребить оружие, чтобы нанести решительный удар; искусство композитора, который знает, как инструментировать свое гармоническое, соображение. Автор *Адольфа* силен, красноречив, язвителен, трогателен, не прибегая



никогда в напряжению силы, к цветам красноречия, к колкостям эпитафии, к *слезам слога*, если можно так выразиться. Как в создании, так и в выражении, как в соображениях, так и в слоге вся сила, все могущество дарования его – в истине. Таков он в *Адольфе*, таков на ораторской трибуне, таков в современной истории, в литературной критике, в высших соображениях духовных умозрений, в пылу политических памфлетов {Письма о стодневном царствовании Наполеона; предисловие его к переводу, или подражанию Шиллеровой трагедии: Валленштейн; статья о г-же Сталь, творение: о религии; все политические брошюры его.}: разумеется, говорится здесь не о мнениях его не идущих в дело, но о том, как он выражает их. В диалектике ума и чувства, не знаю, кого поставить выше его. Наконец, несколько слов о моем переводе. Есть два способа переводить: один независимый, другой подчиненный. Следуя первому, переводчик, напившись смыслом и духом подлинника, переливает их в свои формы; следуя другому, он старается сохранить и самые формы, разумеется, соображаясь со стихиями языка, который у него под рукою. Первый способ превосходнее; второй невыгоднее; из двух я избрал последний. Есть еще третий способ переводить: просто переводить худо. Но не кстати мне здесь говорить о нем. Из мнений моих, прописанных выше о слоге Б. Констан, легко вывести причину, почему я связал себя *подчиненным переводом*. Отступления от выражений автора, часто от самой симметрии слов, казались мне противоестественным изменением мысли его. Пускай назовут веру мою суеверием, по крайней мере, оно непритворно. К тому же, кроме желания моего познакомить Русских писателей с этим романом, имел я еще мою собственную цель: изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному, разумеется, опять, без увечья, без распятыя на ложе Прокрустовом. Я берегся от галлицизмов слов, так сказать синтаксических или вещественных, но допускал галлицизмы понятий, умозрительные, потому что тогда они уже европеизмы. Переводы независимые, то есть пересоздания, переселения душ из иностранных языков в Русский, имели у нас уже примеры блестящие и разве только что достижимые: так переводили Карамзин и Жуковский. Превзойти их в этом отношении невозможно, ибо в подражании есть предел неминуемый. Переселения их не отзываются почвою и климатом родины. Я напротив хотел испытать можно ли, повторяю, не насильствуя природы нашей, сохранить в переселении запах, отзыв чужбины, какое-то областное выражение. Заметим между тем, что эти попытки совершены не над творением исключительно Французским, но более европейским, представителем не Французского общежития, но представителем века своего, светской, так сказать, практической метафизики поколения нашего. В подобной сфере выражению трудно удержать во всей неприкосновенности свои особенности, свои прихоти: межевые столбы, внизу разграничивающие языки, права, обычаи, не доходят до той высшей сферы. В ней все личности сглаживаются, все резкия отличия сливаются. Адольф не француз, не немец, не англичанин: он воспитанник века своего.

Вот не оправдания, но объяснения мои. Оспаривая меня, можно будет, по крайней мере, оспаривать мою систему, а не винить меня в исполнении; можно будет заняться исследованием мысли, а не звуков. Даю критике способ выдти, если ей угодно, из школьных пределов, из инквизиции слов, в которых она у нас обыкновенно сжата.

## Предисловие

1

Не без некоторого недоумения согласился я на перепечатание сего маловажного сочинения, выданного за десять лет. Если бы я не уверен был почти решительно, что готовится поддельное издание оно в Бельгии, и что сия подделка, подобно всем другим, распускаемым в Германии и ввозимым во Францию Бельгийскими перепечатальщиками, будет пополнена прибавлениями и вставками, в которых я не принимал участия, то никогда не занялся бы я сим анекдотом, написанным только для убеждения двух или трех собравшихся в деревне приятелей, что можно придать некоторую занимательность роману, в коем будут только два действующие лица, пребывающие всегда в одинаковом положении.

Обратившись к этому труду, я хотел развить некоторые другие мысль, мне раскрывшиеся и показавшиеся несовершенно бесполезными. Я захотел представить зло, которое и самые черствые сердца испытывают от наносимых ими страданий, и показать заблуждение, побуждающее их почитать себя более ветреными, или более развращенными, нежели каковы они в самом деле. В отдалении, образ скорби, причиняемой нами, кажется неопределенным и неясным, подобно облаку, сквозь которое легко пробиться. Мы подстрекаемы одобрением общества, совершенно поддельного, которое заменяет правило обрядами, чувства приличиями, которое ненавидит соблазн как неуместность, а не как безнравственность; ибо оно довольно доброхотно приветствует порок, когда он чужд огласки. Думаешь что разорвешь без труда узы, заключенные без размышления. Но когда видишь тоску и изнеможение, порожденные разрывом сих уз, сие скорбное изумление души обманутой, сию недоверчивость, следующую за доверенностью столь неограниченную; когда видишь, что она, вынужденная обратиться против существа отдельного от остального мира, разливается и на целый мир; когда видишь сие уважение смятое и опрокинутое на себя незнающее более, к чему прилепиться: тогда чувствуешь, что есть нечто священное в сердце страждущем, потому что оно любит; усматриваешь тогда, сколь глубоки корни привязанности, которую хотел только внушить, а разделить не думал. А если и превозможешь так называемую слабость, то не иначе, как разрушая в себе самом все, что имеешь великодушного, потрясая все, что ни есть постоянного, жертвуя всем, что ни есть благородного и доброго. Потом восстаешь от сей победы, которой рукоплещут равнодушные и друзья, но восстаешь, поразив смертью часть души своей, поругавшись сочувствию, утеснив слабость и оскорбив нравственность, приняв ее за предлог жестокосердия: и таким образом лучшую природу свою переживаешь, пристыженный или развращенный сим печальным успехом.

Такова картина, которую хотел я представить в *Адольфе*. Не знаю, успел ли: по крайней мере, то придает в моих глазах некоторую истину рассказу моему, что почти все люди, его читавшие, мне говорили о себе как о действующих лицах, бывавших в положении, подобном положению моего героя. Правда, что сквозь показываемое ими сожаление о всех горестях, которые они причинили, пробивалось, не знаю, какое-то наслаждение самохвальства. Им весело было намекать, что и они, подобно Адольфу, были преследуемы настойчивою привязанностью, которую они внушали; что и они были жертвами любви беспредельной, которую к ним питали. Я думаю, что по большей части они клеветали на себя, и что если бы тщеславие не тревожило их, то совесть их могла бы остаться в покое.

---

<sup>1</sup> К третьему изданию на Французском языке.

## От издателя<sup>2</sup>

За несколько лет перед сим я ездил по Италии. Разлитием Нето я был задержан в гостинице Черенцы, маленькой деревеньки в Калабрии. В той же гостинице находился другой проезжий, вынужденный оставаться там по той же причине. Он хранил молчание и казался печальным. Он не обнаруживал ни малейшего нетерпения. Иногда ему жаловался я, как единственному слушателю моему, на задержку в проезде нашем. Для меня все равно, отвечал он, здесь ли я, или в другом месте. Наш хозяин, который разговаривал со слугою неаполитанцем, находящимся при этом путешественнике и не ведавшим его имени, сказал мне, что он путешествует не из любопытства, потому что не посещал ни развалин, ни достопримечательных мест, ни памятников, ни людей. Он читал много, но без постоянной связи. Он прогуливался вечером, всегда один, и по целым дням сидел иногда неподвижно, опершись головою на обе руки.

В самое то время, когда устроено было сообщение, и мы могли уже ехать, незнакомец сильно занемог. Человеколюбие заставило меня продлить тут пребывание мое, чтоб ходить за больным. В Черенце был только тамошний лекарь: я хотел послать в Козенцу, искать помощи более надежной. Не стоит того, сказал мне незнакомец; вот именно тот человек, который мне нужен. Он не ошибался, хотя, может быть, думал другое; ибо этот человек вылечил его. Я не предполагал в вас такого искусства, сказал он ему с каким-то нерасположением при прощании; потом он поблагодарил меня за мои о нем попечения и уехал.

Спустя несколько месяцев, из Черенцы от хозяина гостиницы получил я в Неаполе письмо с ларчиком, найденным на дороге в Стронголи, по которой мы с незнакомцем отправились, но только розно. Трактирщик прислал мне его, полагая наверное, что ларчик должен принадлежать одному из нас. Он заключал в себе множество давнишних писем, без надписей или с надписями и подписями уже стертыми, женский портрет и тетрадь, содержащую анекдот, или повесть, которую здесь прочтут. Путешественник, которому принадлежали сии вещи, отъезжая, не указал мне никакого способа писать к нему. Я хранил все эти вещи десять лет, не зная, как их употребить. Однажды проговорил я об них случайно некоторым знакомым моим в Немецком городе: один из них просил меня убедительно показать ему упомянутую рукопись. Через неделю рукопись была возвращена мне при письме, которое я поместил в конце сей повести потому, что оно до её прочтения показалось бы непонятным. По этому письму я решился напечатать повесть, убедясь достоверно, что она не может ни оскорбить никого, ни вредить никому. Я не переменил ни слова в подлиннике: даже собственные имена утаены не мною; они, как и теперь, означены были одними заглавными буквами.

---

<sup>2</sup> Так назвал себя Б. Констан.

## Глава первая

Двадцати двух лет я кончил курс учения в Гёттингенском университете. Отец мой, министр курфюрста \*\*\*, хотел, чтоб я объездил замечательнейшие страны Европы. Он намерен был после взять меня к себе, определить в департамент, коего управление было ему вверено, и приготовить меня к заступлению своей должности. Трудом довольно упорным, посреди самой рассеянной жизни, удалось мне приобрести успехи, которые отличили меня от товарищей в учении и вселили в родителя моего надежды на меня, вероятно, весьма им увеличенные.

Сии надежды сделали его чрезмерно снисходительным ко многим моим проступкам — Он никогда не подвергал меня неприятным последствиям моих шалостей. В этом отношении, он всегда удовлетворял моим просьбам и часто упреждал их.

По несчастию, в его поступках со мною больше было благородства и великодушие, нежели нежности. Я был убежден в правах его на мою благодарность и на мое почтение; но никогда не находилось между нами ни малейшей доверенности. В его уме было что-то насмешливое, а это не соглашалось с моим характером. Я тогда был побуждаем одного неодолимою потребностью предаваться сим впечатлениям, первобытным и стремительным, которые выносят душу из границ обыкновенных и внушают ей презрение к предметам, ее окружающим. Я видел в отце не нравоучителя, но наблюдателя холодного и едкого, который сначала улыбался, и вскоре прерывал разговор с нетерпением. В течении первых осмнадцати лет своих, не помню ни одного с ним разговора, который продолжался бы с час. Письма его были благосклонны, исполнены советов благоразумных и трогательных. Но когда мы сходились, в его обращении со мною было нечто принужденное, для меня неизъяснимое и обратно на меня действовавшее самым тягостным образом. Я тогда не знал, что такое застенчивость, сие внутреннее мучение, которое преследует нас до самых поздних лет, отбивает упорно на сердце наше впечатления глубочайшие, охлаждает речи наши, искажает в устах наших все, что сказать покушаемся, и не дает нам выразиться иначе, как словами неопредетельными, или насмешливостью более или менее горькою, как будто на собственных чувствах своих мы хотим отомстить за досаду, что напрасно стараемся их обнаружить. Я не знал, что отец мой даже и с сыном своим был застенчив, что часто, ожидая долго от меня изъявления нежности, которую, казалось, загромождала во мне его наружная холодность, он уходил от меня со слезами на глазах и жаловался другим, что я его не люблю.

Принужденность моя с ним сильно действовала на мой характер. Как он, равно застенчивый, но более беспокойный, потому что был моложе, я привыкал заключать в себе все свои ощущения, задумывать планы одинокие, в их исполнении на одного себя надеяться, и почитать предостережения, участие, помощь и даже единое присутствие других за тягость и препятствие. Я приучил себя не говорить никогда о том, что меня занимало и, поработавшись разговору, как докучной необходимости, оживлять его беспрерывною шуткою, которая лишала его обыкновенной томительности и помогала мне утаивать истинные мои мысли. От сего произошел у меня в откровенности недостаток, в котором и ныне укоряют меня приятели, и трудность повести разговор рассудительный для меня почти всегда неодолима. Следствием сего было также пылкое желание независимости, нетерпение, раздраженное связями, меня окружающими, и непобедимый страх поддаться новым. Мне было просторно только в одиночестве: таково еще и ныне действие сей склонности души, что в обстоятельствах самых маловажных, когда мне должно решиться на одно из двух, лице человеческое меня смущает, и я по природному движению убегаю от него для мирного совещания с самим собою. Я не имел однакоже того глубокого эгоизма, который выказывается подобным свойством. Заботясь только о себе одном, я слабо о себе заботился. На дне сердца моего таилась потребность чувствительности, мною не замечаемая; но, не имея чем удовлетвориться, она отвлекала меня постепенно от всех предметов,

поочередно возбуждавших мое любопытство. Сие равнодушие ко всему утвердилось еще более мыслью о смерти, мыслью, поразившею меня в первую мою молодость, так что я никогда не постигал, как могут люди столь легко отвлекать себя от неё. Семнадцати лет был я свидетелем смерти женщины уже в летах, которой ум, свойства замечательного и странного, способствовал к развитию моего. Сия женщина, как и многие, при начале поприща своего кинулась в свет, ей неизвестный, с чувством необыкновенной силы душевной и способностями, в самом деле могущественными, и так же, как многие, за непокорность приличиям условным, но нужным, она увидела надежды свои обманутыми, молодость, протекающую без удовольствий, и наконец старость ее постигла, но не смирила. Она жила в замке, соседственном с нашими деревнями, недовольная и уединенная, имея подмогою себе единый ум свой и все подвергая исследованию ума своего. Около года, в неистощимых разговорах наших, мы обозревали жизнь во всех её видах и смерть неизбежным концем всего. И столько раз беседовал с нею о смерти, я наконец должен был видеть, как смерть и ее поразила в глазах моих.

Сие происшествие исполнило меня чувством недоумения о жребии человека и неопределенною задумчивостию, которая меня не покидала. В поэтах читал я преимущественно места, напоминавшие о кратковременности жизни человеческой. Мне казалось, что никакая цель недостойна никаких усилий. Довольно странно, что сие впечатление ослабевало во мне именно по мере годов, меня обременявших, от того ли, что в надежде есть нечто сомнительное, и что когда она сходит с поприща человека, сие поприще приемлет вид более мрачный, но более положительный; от того ли, что жизнь кажется глазам нашим тем действительнее, чем более пропадают заблуждения, как верхи скал рисуются явственнее на небосклоне, когда облака рассеиваются.

Оставя Геттинген, я прибыл в город \*\*\*; он был столицею принца, который по примеру почти всех Германских принцев, правил кротко областью необширную, покровительствовал людям просвещенным, в ней поселившимся, давал всем мнениям свободу совершенную, но сам, по старинному обычаю, ограниченный обществом своих придворных, собирал по этой причине вокруг себя людей, большею частию, малозначущих и посредственных. Я был встречен при этом дворе с любопытством, которое необходимо возбудить должен каждый приезжий, расстраивающий присутствием своим порядок однообразия и этикета. Несколько месяцев ничто в особенности не приковывало моего внимания. Я был признателен за благосклонность, мне оказанную; но частью застенчивость моя не давала мне ею пользоваться, частью усталость от волнения без цели заставляла меня предпочитать уединение приторным удовольствиям, к коим меня приглашали. Я ни в кому не питал неприязни, но немногие внушали мне участие: а люди оскорбляются равнодушием; они приписывают его недоброжелательству, или спесивой причудливости. Им никак не верится, что с ними просто скучаешь. Иногда я старался победить свою скуку. Я укрывался в глубокую молчаливость: ее принимали за презрение. По временам, утомленный сам своим молчанием, я подавался на шутки, и ум мой, приведенный в движение, увлекал меня из меры. Тогда обнаруживал я в один день все, что мною было замечено смешного в месяц. Наперсники моих откровений, нечаянных и невольных, не были ко мне признательны, и по делом: ибо мною обладала потребность говорить, а не доверчивость. Беседами своими с женщиною, которая первая раскрыла мои мысли, я был приучен к неодолимому отвращению от всех пошлых нравоучений и назидательных формул. И когда предо мною посредственность словоохотно рассуждала о твердых и неоспоримых правилах нравственности, приличий или религии, кои любит она подводить иногда под одну чреду, я подстрекаем бывал желанием ей противоречить: не потому, что держался мнений противных, но потому, что раздражен был убеждением столь плотным и тяжелым. Впрочем, не знаю, всегда какое-то чувство предостерегало меня не поддаваться сим аксиомам, столь общим, столь не подверженным ни малейшему исключению, столь чуждым всяких оттенков. Глупцы образуют из своей

нравственности какой-то слой твердый и неразделимый, с тем, чтобы она, как можно менее, смешивалась с их деяниями и оставила бы их свободными во всех подробностях.

Таким поведением я вскоре распустил о себе славу человека легкомысленного, насмешливого и злобного. Мои едкие отзывы пошли за свидетельство души ненавистливой; мои шутки – за преступления, посягающие на все, что есть почтенного. Люди, пред коими провинился я, насмехаясь над ними, нашли удобным вооружиться за одно с правилами, которые, по их словам, я подвергал сомнению: и потому, что мне удалось нехотя позабавить их друг над другом, они все соединились против меня. Казалось, что, обличая их дурачества, я как будто бы выдаю тайну, которую мне они вверили; казалось, что, явившись на глаза мои тем, чем были в самом деле, они обязали меня клятвой на молчание: у меня на совести не лежало согласия на договор слишком обременительный. Им весело было давать себе полную волю, мне наблюдать и описывать их; и что именовали они предательством, то в глазах было возмездием, весьма невинным и законным.

Не хочу здесь оправдываться. Я давно отказался от сей суетной и легкой повадки ума неопытного: хочу только сказать, что в пользу других, а не себя, уже в безопасности от света, что нельзя в короткое время привыкнуть к человеческому роду, каким является он нам, преобразованный своекорыстием, принужденностью, чванством и опасением. Изумление первой молодости при виде общества, столь поддельного и столь разработанного, знаменует более сердце простое, нежели ум злобный и насмешливый. Притом же нечего страшиться обществу. Оно так налегает на нас, скрытое влияние его так могущественно, что оно без долговременной отсрочки обделяет нас по общему образцу. Мы тогда дивимся одному прежнему удивлению, и нам становится легко в вашем новом преображении: так точно под конец дышешь свободно в театральной зале, набитой народом, где сначала с трудом мог переводить дыхание.

Если немногие и избегают сей общей участи, то они сокрывают в себе свое тайное разногласие: они усматривают в большей части дурачеств зародыши пороков, и тогда не забавляются ими, потому, что презрение молчаливо.

Таких образом разлилось по маленькой публике, меня окружавшей, беспокойное недоумение о моем характере. Не могли выставить ни одного поступка предосудительного; не могли даже отрицать достоверности нескольких поступков коих, обнаруживавших великодушие или самоотвержение; но говорили, что я человек безнравственный, человек ненадежный. Эти два прилагательные счастливо изобретены, чтобы намекать о действиях, про которые не ведаешь, и давать угадывать то, чего не знаешь.

## Глава вторая

Рассеянный, невнимательный, скучающий, я не замечал впечатления, производимого мною, я делил время свое между занятиями учебными, часто прерываемыми, намерениями, не приводимыми в действие, и забавами для меня без удовольствия, когда обстоятельство, по-видимому, весьма маловажное, произвело в моем положении значительную перемену.

Молодой человек, с которым я был довольно короток, домогался уже несколько месяцев нравиться одной из женщин нашего круга, менее других скучной; я был наперсником, вовсе бескорыстным, его предприятия. После многих стараний он достигнул цели; не скрывав от меня своих неудач и страданий, он почел за обязанность поверить мне и свои успехи. Ничто не могло сравниться с его восторгами, с иступлением радости его. При зрелище подобного счастья, я сожалел, что еще не испытал оно. До той поры я не имел ни с одной женщиной связи, лестной для моего самолюбия: казалось, новое будущее разоблачилось в глазах моих; новая потребность отозвалась в глубине моего сердца. В этой потребности было без сомнения много суетности; но не одна была в ней суетность; может статься, было её и менее, нежели я сам полагал. Чувства человека смутны и смешаны; они образуются из множества различных впечатлений, убегающих от наблюдения; и речь, всегда слишком грубая и слишком общая, может послужить нам к означению, но не в определению оных.

В доме родителя моего я составил себе о женщинах образ мыслей, довольно безнравственный. Отцу моему, хотя он и строго соблюдал внешние приличия, случалось, и нередко, говорить легко о любовных связях. Он смотрел на них, как на забавы, если не позволительные, то, по-крайней мере, извинительные, и почитал один брак делом важным. Он держался правила, что молодой человек должен беречь себя от того, что называется сделать дурачество, то есть, заключить обязательство прочное с женщиною, которая не была бы ему совершенно равною по фортуне, рождению и наружным выгодам; но впрочем ему казалось, что все женщины, пока не идет дело о женитьбе, могут без беды быть присвоены, потом брошены; и я помню его улыбку несколько одобрительную при пародии известного изречения: *«им от этою так мало беды, а нам так много удовольствия»*.

Мало думают о том, сколь глубокое впечатление наносят подобные слова в молодые лета; сколько в возрасте, в коем все мнения еще сомнительны и зыбки, дети удивляются противоречию шуток, приветствуемых общею похвалою, с наставлениями непреложными, которые им преподают. Сии правила, тогда в глазах их являются им пошлыми формулами, которые родители условились твердить им для очистки своей совести; а в шутках, кажется им, заключается настоящая тайна жизни.

Раздираемый неопределенным волнением, я говорил себе: «хочу быть любим» и оглядывал кругом себя; смотрел, и никто не внушал мне любви, никто не казался мне способным любить; вопрошал я сердце свое и свои склонности, и не чувствовал в себе никакого движения предпочтительного пристрастия. Таким образом, исполненный внутренне мучений, я познакомился с графом П... Ему было лет сорок; его фамилия была в свойстве с моею. Он предложил мне побывать у него. Несчастное посещение! С ним жила его любовница, полька, прославленная своею красотою, хотя и была она уже не первой молодости. Женщина сия, не смотря на свое невыгодное положение, оказала во многих случаях характер необыкновенный. Семейство её, довольно знаменитое в Польше, было разорено в смутах сего края. Отец её был изгнан; мать отправилась во Францию искать убежища, привезла с собою свою дочь и по смерти своей оставила ее в совершенном одиночестве. Граф П... в нее влюбился. Мне никогда не удалось узнать, как образовалась сия связь, которая, когда увидел я в первый раз Элеонору, была уже давно упроченною и, так сказать, освященною. Бедственность ли положения, или неопытность лет кинули ее на стезю, от которой, казалось, она равно ограждена была своим воспитанием,

своими привычками и гордостью, одним из отличительных свойств её характера? Знаю только то, что знали все, а именно, что когда состояние графа П... было почти в конец разорено и независимость его угрожаема, Элеонора принесла такие доказательства преданности ему, с таким презрением отвергла предложения, самые блестящие, разделила опасности его и нищету с таким усердием и даже с такою радостью, что и самая разборчивая строгость не могла отвязаться от справедливой оценки чистоты её побуждений и бескорыстия поступков её. Единственно её деятельности, смелости, благоразумию, пожертвованиям всякого рода, понесенным ею без малейшего ропота, любовник её был обязан за возвращение некоторой части своих владений. Они приехали на житье в Д... по делам тяжбы, которая могла вполне возратить графу П... его прежнее благосостояние, и думали они пробыть тут два года.

Ум Элеоноры был обыкновенный, но понятия верны, а выражения, всегда простые, были иногда разительны по благородству и возвышенности чувств её. Она имела много предразсудков, но все предразсудки её были в противоположности с её личною пользою. Она придавала большую цену беспорочности поведения, именно потому, что её поведение не было беспорочно по правилам общепринятым. Она была очень предана религии, потому что религия строго осуждала её род жизни. Она неуклонно отражала в разговорах все, что для других женщин могло бы вязаться шутками невинными, боясь всегда, чтобы положение её не подало кому-нибудь права дозволить себе при ней шутки неуместные. Она желала бы принимать к себе только мужчин почетных и нравов беспорочных: потому что женщины, в которых она страшилась быть причисленною, составляют себе, по обыкновению, общество смешанное, и, решившись на утрату уважения, ищут одной забавы в сношениях общежития. Элеонора, одним словом, была в борьбе постоянной с участью своею. Она каждым своим действием, каждым своим словом противоречила, так сказать, разряду, к которому была прочтена, и чувствуя, что действительность сильнее её, что стараниями своими не переменит ни в чем положения своего, она была очень несчастлива. Она воспитывала с чрезмерною строгостью двоих детей, прижитых ею с графом П... Можно было подумать, что иногда тайное, мятежное чувство сливалось с привязанностью более страстною, нежели нежною, которую она им оказывала, и что от такого противоборства они бывали ей некоторым образом в тягость. Когда с добрым намерением говорили ей, что дети её растут, замечали дарования, в них показывающиеся, угадывали успехи, их ожидающие, она бледнела от мысли, что со временем должна будет объявить им тайну их происхождения. Но малейшая опасность, час разлуки обращали ее в них с беспокойством, выказывавшем род угрызения и желание доставить им своими ласками счастье, которого сама она в них не находила. Сия противоположность между чувствами её и местом, занимаемым ею в свете, дала большую неровность её нраву и обхождению. Часто она бывала задумчива и молчалива; иногда говорила с стремительностью. Постоянно одержимая мыслью отдельною, она и посреди разговора общего не оставалась никогда совершенно покойною, но именно потому во всем обращении её было что-то неукротимое и неожиданное, и это придавало ей увлекательность, может быть, ей несродную. Странность её положения заменила в ней новизну мыслей. На нее смотрели с участием и с любопытством, как на прекрасную грозу.

Явившаяся моим взорам в минуту, когда сердце мое требовало любви, а чувство суетное успехов, Элеонора показалась мне достойною моих искусительных усилий. Она сама нашла удовольствие в обществе человека, непохожего на тех, которых она доселе видела. Круг её был составлен из нескольких друзей и родственников любовника её и жен их, которые из трусливого угождения графу П... согласились познакомиться с его любовницею. Мужья были равно лишены и чувств и мыслей. Жены отличались от них посредственностью более беспокойною и торопливою, потому что не имели, подобно мужьям, этого спокойствия ума, приобретаемого занятием и деловою правильностью. Некоторая утонченность в шутках, разнообразие в разговорах, соединение мечтательности и веселости, уныния и живого участия, восторженности и насмешливости, удивили и привлекли Элеонору. Она говорила на многих языках, хотя и несо-



вершенно, но всегда с движением, часто с прелестью. Мысли, казалось, пробивались сквозь препятствия и выходили из сей борьбы с новою приятностию, простотою и свежестью, потому что чужеземные наречия молодят мысли и освобождают их от оборотов, придающих им поочередно нечто пошлое и вынужденное. Мы читали вместе Английских поэтов, ходили вместе прогуливаться. Часто бывал я у неё по утрам и к ней же возвращался вечером, беседовал с него о тысяче предметов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.